

Максим Горький

# Исповедь



Максим Горький

**Исповедь**

«Public Domain»

1908

## **Горький М.**

Исповедь / М. Горький — «Public Domain», 1908

«...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать её – надобно вам. Я – крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рождён – неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Сокольем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя – или кто другой – в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришёл он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завернуто, а вокруг кот дымчатый ходит...»

# Максим Горький

## Исповедь

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать её – надобно вам.

Я – крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рождён – неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Сокольем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя – или кто другой – в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришёл он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завёрнуто, а вокруг кот дымчатый ходит.

У Данилы прожил я до четырёх лет, но он сам многодетный был, кормился я где попало, а когда пищи не найду, – попищу, попищу да голоден и засну.

Четырёх лет взял меня к себе дьячок Ларион, человек одинокий и чудесный; взял он меня для скуки своей. Был он небольшого роста, круглый и лицо круглое; волосы рыжие, а голос тонкий, подобно женскому, и сердце имел тоже как бы женское – до всех ласковое. Любил вино пить и пил помногу; трезвый молчалив бывал, глаза полужакрыты всегда, и вид имел человека виноватого пред всеми, а выпивши – громко ирмосы и тропари пел, голову держал прямо и всякому улыбался.

От людей в стороне стоял, жил бедно, надел свой попу отдал, а сам, зиму и лето, рыбу ловил да – забавы ради – птиц певчих, к чему и меня приучил. Любил он птиц, и они не боялись его; умилительно вспомнить, как, бывало, бегают поползень – птица очень дикая – по рыжей голове его и путается в огневых волосах. Или сядет на плечо и в рот ему заглядывает, наклоня умную голову свою. А то ляжет Ларион на лавку, насыплет конопли в голову и в бороду себе, и вот слетятся чижи, щеглята, синицы, снегири – роются в волосах дьячка, по щекам лазят, уши клюют, на нос ему садятся, а он лежит и хохочет, жмуря глаза да ласково беседуя с ними. Завидовал я ему в этом – меня птицы боялись.

Нежной души человек был Ларион, и все животные понимали это; про людей того не скажу – не в осуждение им, а потому, что, знаю, – человека лаской не накормишь.

Зимой трудно было бывало ему: дров нет и купить не на что, деньги пропиты; в избёнке, как в погребе, холодно, только пичужки щебечут да поют, а мы с ним, лёжа на холодной печи, всем, чем можно, окутаемся и слушаем птичье пение... Ларион им подсвистывает – хорошо умел! – да и сам был похож на клеста: нос большой, крюком загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажет мне:

– Вот, слушай, Мотья, – меня Матвеем окрестили, – слушай!

Ляжет на спину, руки под голову, зажмурит глаза и заведёт своим тонким голосом что-нибудь из литургии заупокойной. Птицы замолчат, прислушаются, да потом и сами впереводку петь начнут, а Ларион пуштит их, а они яряются, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того он допоётся, бывало, что сквозь веки из глаз у него слёзы текут, щёки ему мочат и, омытое слезами, станет серым лицо его.

От такого пения иной раз жутко становилось, и однажды я сказал ему тихонько:

– Что ты, дядя, всё про смерть поёшь?

Перестал он, поглядел на меня и говорит, смеясь:

– А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато – красиво! В богослужении самое красивое – заупокойная литургия: тут ласка человеку есть, жалость к нему. У нас, кроме покойников, никого не умеют жалеть!

Слова эти – хорошо помню, как и все его речи, но понимать их в ту пору я, конечно, не мог. Детское только перед старостью понятно, в самые мудрые годы человека.

Помню тоже – спросил я его: почему бог людям мало помогает?

– Не его это дело! – объяснил он мне. – Сам себе помогай, на то тебе разум дан! Бог – для того, чтобы умирать не страшно было, а как жить – это твоё дело!

Рано забыл я эти речи его, а вспомнил – поздно, и оттого много лишнего горя перенёс.

Замечательный был человек! Все люди, когда удят, не кричат, не разговаривают, чтобы не пугать, – Ларион поёт неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о боге говорит, и всегда к нему рыба шла. Птиц ловят тоже с осторожностью, а он всё время свистит, дразнит их, беседы с ними ведёт, и – ничего! – идёт птица и в чапки и в сеть. Опять же – насчёт пчёл – рои отсаживать или что другое, – старые пчеляки с молитвой это делают, и то не всяк раз удаётся им, позовут дьячка – он бьёт пчел, давит их, ругается матерно, – а всё сделает в лучшем виде. Не любил он пчёл: они у него дочь ослепили. Забралась на пчельник девочка – три года было ей, – а пчела её в глаз и чикнула; разболелся глазок да ослеп, за ним – другой, потом девочка померла от головной боли, а мать её сошла с ума...

Да, всё он делал не как люди, ко мне ласков был, словно мать родная; в селе меня не очень жаловали: жизнь – тесная, а я – всем чужой, лишний человек. Вдруг чей-нибудь кусок незаконно съем...

Приучил меня Ларион ко храму, стал я помогать ему по службе, пел с ним на клиросе, кадило зажигал, всё делал, что понадобится; сторожу Власию помогал порядок в церкви держать и любил всё это, особенно зимой. Церковь-то деревянная, топили её хорошо, тепло было в ней.

Всенощная служба больше утренней приятна мне была; к ночи, трудом очищенные, люди отрешаются от забот своих, стоят тихо, благолепно, и теплятся души, как свечи восковые, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разные, а горе – одно.

Ларион любил службу во храме: закроет глаза, голову рыжую кверху закинет, кадык выпятит и – зальётся, запоёт. До того доходил, что и лишнее певал, – уж поп ему из алтаря знаки делает – куда, дескать, тебя занесло? И читал тоже прекрасно, нараспев, звонко, с ласкою в голосе, с трепетом и радостью. Поп не любил его, он попа – тоже и не раз, бывало, говорил мне:

– Какой это священник! Он не поп, а барабан, по которому нужда и привычка палками бьют. Был бы я попом, я бы так служил, что не токмо люди – святые иконы плакали бы!

И это верно – нехорош был поп на своём месте: лицо курносое, чёрное, словно порохом опалено, рот широкий, беззубый, борода трёпаная, волосом – жидок, со лба – лысина, руки длинные. Голос имел хриплый и задыхался, будто не по силе ношу нёс. Жаден был и всегда сердит, потому – многосемейный, а село бедное, зёмли у крестьян плохие, промыслов нет никаких.

Летом, когда и комар богат, мы с Ларионом днём и ночуем в лесу, за охотой на птиц, или на реке, рыбу ловя. Случалось – вдруг треба какая-нибудь, а дьячка нет, и где найти его – неведомо. Всех мальчишек из села разгонят искать его; бегают они, как зайчата, и кричат:

– Дьячок! Ларивон! Аида домой!

Едва найдут... Поп ругается, жалобой грозит, а мужики – смеются.

Был у него один дружок, Савёлка Мигун, ворище известный и пьяница заливной, не раз бит бывал за воровство и даже в остроге сидел, но, по всему прочему, – редкостный человек! Песни он пел и сказки говорил так, что невозможно вспомнить без удивления.

Множество раз я его слышал, и теперь вот он предо мною жив стоит: сухонький, юркий, бородёнка в три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клином, а лоб большой, и под ним воровские развесёлые глаза часто мигают, как две тёмные звезды.

Бывало, притащит он бутылку водки, а то Лариона заставит купить, сядут они друг против друга за стол, и говорит Савёлка:

– А ну-ко, дьяче, валяй «Покаяние»!

Выпьют... Ларион поконфузится немножко да и запоёт, а Савёлка сидит, как пришитый, мигает, бородёнкой трясёт, слёзы на глазах у него, лоб рукой поглаживает и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щёк.

Потом подскочит, как мяч, кричит:

– Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я господу богу – хорошо песни сложены ему! Человек-то, Ларя, а? Каков есть человек, сколь он добр и богат душой, а? Ему ли уж не трудно перед богом ходить! А он – вот как – на! Ты мне, господи, – ничего, а я тебе – всю душу!

– Не кощунь! – скажет Ларион.

– Я? – кричит Савёлка. – Нисколько! Даже и в помыслах нет! Где же я кощуню? Никак! Радуюсь за бога – и больше ничего! Ну, а теперь я тебе спою!

Встанет, руку вытянет и начнёт колдовать. Пел он тихо, таинственно пел, глаза широко раскроет, зажгёт их каким-то особенным огнём, и на вытянутой руке его сухие пальцы шевелятся всегда, словно ищут чего-то в пустоте. Ларион к стене отвалится, опираясь руками о скамью, откроет рот и смотрит удивлённый; я на печи лежу, а сердце у меня замирает печально-сладостно. Потемнеет весь Савёлка, только мышинные зубы его блестят, да сухой язык шевелится, как у змеи, и пот на лбу выступит крупными каплями. Голосу у него – конца нет, так и льётся, так и светится, подобно ручью в поле. Кончит, покачивается, оботрёт лицо ладонью, выпьют оба и долго молчат. Потом Савёлка просит:

– А ну-ко, Ларя, «Волною морскою»!

И так они весь вечер друг друга утешают, пока не спьянятся оба; тогда Мигун начинает похабные сказки сказывать про попов, помещиков, царей; дьячок хохочет и я тоже, а Савёлка без устали сказку за сказкой вяжет и так смешно, что впору задохнуться со смеху.

А ещё лучше он по праздникам у кабака певал: встанет пред народом, зажмурится крепко, так что на висках морщины лягут, да и заведёт; смотришь на него – и словно песня в грудь ему из самой земли исходит: и слова ему земля подсказывает, и силу голосу дает. Стоят и сидят вокруг мужики; кто голову опустил и соломинку грызёт, иной смотрит в рот Савёлке и весь светится, а бабы даже плачут, слушая.

Кончит он – просят:

– Валяй, брат, ещё! Выпить поднесут.

Был про Мигуна такой рассказ: украл чего-то в селе, поймали его мужики да и говорят:

– Ну, – конечно твоё дело! Теперь мы удавим тебя, невтерпёж нам ты!

А он будто отвечает:

– Бросьте, мужики, не дело затеяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть – ничего вами не потеряно, – имение всегда новое можно нажить, а такого человека, как я, – где вам взять? Кто вас утешит, как не будет меня?

– Ладно, – говорят, – толкуй!

Повели его в лес вешать, а он дорогой и запел. Сначала шли – торопились, потом перестали спешить, а пришли к лесу – и готова веревка, но ждут, когда он кончит последнюю песню свою, а потом говорят друг другу:

– Пускай ещё одну споёт, это ему вместо отходной будет!

Спел он и ещё, а тут солнышко взошло, оглянулись люди – ясный день с востока идёт, Мигун среди них улыбается, ожидает смерть без страха. Сконфузились мужики.

– Ну его, ребята, ко всем псам! – говорят. – Удавишь – греха да склоки разной не оберёшься.

И порешили не трогать Мигуна.

– За талан твой, – говорят, – мы те и в пояс поклонимся, а за воровство всё-таки должны бока намять.

Побили его легонько да вместе с ним и пошли назад.

Всё это, может быть, и выдуманно, да уж очень лестно про людей говорит и Савёлку хорошо ставит. А ещё и то подумайте: коли люди этак складно сказки сказывают, стало быть – не больно плохи они, а в том и вся суть!

Не только песни пели, но и о многом разговаривали Савёлка с Ларионом, часто – о дьяволе: не в чести он был у них.

Помню, раз говорит дьячок:

– Дьявол есть образ злобы твоей, отражение духовной темноты...

– Глупость моя, значит? – спрашивает Савёлка.

– Именно она – и больше ничего!

– Должно быть, так и есть! – смеясь, говорит Мигун. – А то, кабы он жив был, давно бы ему сцапать меня надобно!

Совсем на верил Ларион в чертей; помню, на гумне, споря с мужиками-раскольниками, кричал он им:

– Не дьявольское, но – скотское! Добро и зло – в человеке суть: хотите добра – и есть добро, зла хотите – и будет зло от вас и вам! Бог не понуждает вас на добро и на зло, самовластны вы созданы волею его и свободно творите как злое, так и доброе. Дьявол же ваш – нужда и темнота! Доброе суть воистину человеческое, ибо оно – божие, злое же ваше – не дьявольское, но скотское!

Они ему кричат:

– Еретик рыжий!

А он – своё.

– Оттого, – говорит, – дьявол и пишется рогат и козлоног, что он есть скотское начало в человеке.

Лучше всего о Христе Ларион говорил: я, бывало, плакал всегда, видя горькую судьбу сына божия. Весь он – от спора в храме с учёными до Голгофы – стоял предо мною, как дитя чистое и прекрасное в неизречённой любви своей к народу, с доброй улыбкой всем, с ласковым словом утешения, – везде дитя, ослепительное красотой своею!

– И с мудрецами храма, – говорил Ларион, – как дитя, беседовал Христос, оттого и показался им выше их в простой мудрости своей. Ты, Мотя, помни это и старайся сохранить в душе детское твоё во всю жизнь, ибо в нём – истина!

Спрашивал я его:

– А скоро опять Христос придёт?

– Скоро уже! – говорит. – Скоро, – слышно, что люди снова ищут его!

Вспоминая теперь Ларионовы слова, кажется мне, что видел он бога великим мастером прекраснейших вещей, и человека считал неумелым существом, заплутавшимся на путях земных, и жалел его, бесталанного наследника великих богатств, богом ему отказанных на сей земле.

У него и у Савёлки одна вера была. Помню, икона чудесно явилась у нас на селе. Однажды рано утром по осени пришла баба до колодца за водой и – вдруг видит: но тьме на дне колодца – сияние. Собрала она народ, земский явился, поп пришёл, Ларион прибежал, спустили в колодезь человека, и поднял он оттуда образ «Неопалимой купины». Тут же начали молебен служить, и решено было часовню над колодцем поставить. Поп кричит:

– Православные, жертвуйте!

Земский тоже приказывает, и сам трёшницу дал. Мужики развязали кошель, бабы усердно холсты тащат и всякое жито, по селу ликование пошло, и я был рад, как в день светлого Христова воскресения.

Но ещё во время молебна видел я, что лицо Ларионово грустно, и не смотрит он ни на кого, а Савёлка, словно мышь шныряя в толпе, усмехается. Ночью я ходил смотреть на

явленную: стояла она над колодцем, источая дыму подобное голубовато-светлое сияние, будто некто невидимый ласково дышал на неё, грея светом и теплом; было и жутко и приятно мне.

А пришёл я домой, слышу – Ларион грустно говорит:

– Нет такой божьей матери!

И Савёлка тянет, смеясь:

– Я зна-аю! Чай, Моисей-то задолго до Христа был! Каковы жулики? Чудо, а? Ах вы, чудаки!

– В тюрьму бы за это и земского и попа! – тихо-тихо говорит Ларион. – Чтобы не убивали они, корысти своей ради, бога в людях!

Я чувствую – неприятен мне этот разговор, и спрашиваю с печи:

– Вы про что говорите, дядя Ларион?

Замолчали они, шепчутся оба, видимо, обеспокоились.

Потом Савёлка кричит:

– Ты – чего? Сам на людей жалуешься – дураки, и сам же, без стыда, дурака делаешь из Матвейки? Зачем?

Подскочил и говорит мне:

– Гляди, Мотька, вот – спички! Вот – я их растираю в руках... Видишь? Гаси огонь, Ларион!

Погасили лампу, и, вижу я, в темноте две Савёлкины руки сияют тем же дымом голубым, как и явленная икона. Страшно и обидно было видеть это.

Савёлка чего-то говорит, а я в угол печи забился и уши себе пальцами заткнул. Тогда влезли они оба ко мне – водку тоже взяли – и долго, наперебой, рассказывали мне об истинных чудесах и обманном надругательстве над верою людей. Так я и заснул под их речи.

А через два-три дня приехало множество попов и чиновников, икону арестовали, земского с должности сменили, попа тоже настращали судом. Тогда и я поверил в обман, хоть и трудно было мне согласиться, что всё это только для того сделано, чтобы у баб холсты, у мужиков пятаки вытянуть.

Ещё когда минуло мне шесть лет, начал Ларион меня грамоте учить по-церковному, а через две зимы у нас школу открыли, – он меня в школу свёл. Сначала я несколько откачнулся от Лариона. Учиться понравилось мне, взялся я за книжки горячо, так что он, бывало, спросит урок у меня и, прослушав, скажет:

– Славно, Мотька!

А однажды сказал:

– Хорошая кровь в тебе горит, видно, не глуп был твой отец!

Я спрашиваю:

– А где он?

– Кто ж это знает!

– А он – мужик?

– Наверное одно можно сказать – мужчина. А насчет сословия – неизвестно. Едва ли мужик однако! По лицу твоему да по коже – кроме характера – из господ, видать!

Запали эти случайные слова его в память мне и не принесли добра. Назовут меня в школе подкидышем, а я – на дыбы и кричу товарищам:

– Вы – мужичьи дети, а мой отец – барин!..

Очень я утвердился на этом – надо обороняться чем-нибудь против насмешек, а иной обороны не было на уме. Не взлюбили меня и уж начали зазорно звать, а я – драться стал. Парнишка крепкий был, дрался ловко. Пошли на меня жалобы, говорят дьячку люди, отцы и матери:

– Уйми своего приبلудного!

А иные и без жалоб, сами за уши драли, сколько хотелось.

Тогда Ларион сказал мне:

– Может ты, Матвей, даже генеральский сын, только это – не велика важность! Все родятся одинаково, стало быть, и честь одна для всякого.

Но уж опоздал он – мне в ту пору было лет двенадцать, и обиды я чувствовал крепко. Потянуло меня в сторону от людей, снова стал я ближе к дьячку, целую зиму мы с ним по лесу лазили, птиц ловили, а учиться я хуже пошёл.

Кончил я школу на тринадцатом году; задумался Ларион, что ему дальше делать со мной? Бывало, плывём мы с ним в лодке, я – на вёслах, а он – на руле, и водит он меня в мыслях своих по всем тропам судьбы человеческой, рассказывает разные планы жизни.

И попом он меня видит, и солдатом, и приказчиком, а везде нехорошо для меня!

– Как же, Мотья? – спрашивает.

Потом поглядит на меня и скажет, смеясь:

– Ничего, не робей! Коли не сорвёшься, так вылезешь! Только солдатства избегай, там человеку – крышка!

В августе, вскоре после успеньева дня, поехали мы с ним на Любушин омут сомят ловить, а был Ларион малость выпивши, да и с собой тоже вино имел. Глокает из бутылки понемножку, крикает и поёт на всю реку.

Лодка у него плохая была, маленькая и валкая, повернулся он в ней резко, зачерпнула она бортом, – и очутились мы оба в воде. Не первый раз случилось это, и не испугался я. Вынырнул – вижу, Ларион рядом со мной плавает, трясёт головой и говорит:

– Плыви на берег, а я окаянное корыто буду гнать туда!

Недалеко от берега было, течение слабое, я плыву совсем спокойно, но вдруг, словно за ноги меня дёрнуло или в студёную струю попал, обернулся назад: идёт наша лодка вверх дном, а Лариона – нет. Нет его нигде!

Словно камнем, ударило меня страхом в сердце, передёрнуло судорогой, и пошёл я ко дну.

В тот час ехал по полю приказчик из экономии, Егор Титов, видел он, как перевернулись мы, видел, как Ларион пропал; когда я стал тонуть – Титов уже раздевался на берегу. Он меня и вытащил, а Лариона только ночью нашли.

Погасла милая душа его, и сразу стало для меня темно и холодно. Когда его хоронили, хворый я лежал и не мог проводить на погост дорогого человека, а встал на ноги – первым делом пошёл на могилу к нему, сел там – и даже плакать не мог в тоске. Звенит в памяти голос его, оживают речи, а человека, который бы ласковую руку на голову мне положил, больше нет на земле. Всё стало чужое, далёкое... Закрыв глаза, сижу. Вдруг – поднимает меня кто-то: взял за руку и поднимает. Гляжу – Титов.

– Нечего, – говорит, – тебе делать тут, идём!

И повёл меня. Я – иду.

Говорит он мне:

– Видно, сердце у тебя, мальчонка, хорошее, добро помнит.

А мне от этого не легче. Молчу. Дальше говорит Титов:

– Ещё в то время, как подкинули тебя, думал я – не взять ли ребёнка-то себе, да не успел тогда. Ну, а видно, что господь этого хочет, – вот он снова вручил жизнь твою в руки мне. Значит, будешь ты жить со мной!

Мне тогда всё едино было – жить, не жить, и как жить, и с кем... Так я и встал с одной точки на другую незаметно для себя.

Через некоторое время огляделся. Титов этот – мужчина высокий, угрюмый, стриженный, как солдат, с большими усами и бритой бородой. Говорил не спеша, как бы опасаясь лишнее сказать или сам слову своему не веря. Руки всегда за спиной, а то в карманах держал, словно стыдился их. Знал я, что мужики на селе – да и во всей округе – не любят его, а года два назад,

в деревеньке Малининой, даже колом ударили. Говорили – он с пистолетом ходит всегда. Жена его, Настасья Васильевна, была женщина красивая, только – болела; худая, едва ходит, лицо без кровинки, а глаза большие, горят сухо и боязливо таково. Дочь у них, Оля, на три года моложе меня, тоже хилая и бледненькая.

И всё вокруг них тихо: на полу толстые половики лежат, шагов не слышать, говорят люди мало, вполголоса, – даже часы на стене осторожно постукивают. Пред иконами неугасимые лампы горят, везде картинки наклеены: страшный суд, муки апостольские, мучения святой Варвары. А в углу на лежанке старый кот лежит, толстый, дымчатый, и зелёными глазами смотрит на всё – блюдет тишину. В тишине этой осторожной ни Ларионова пения, ни птиц наших долго не мог я забыть.

Свёл меня Титов в контору и начал приучать к бумажному делу. Живу. Вижу – следит за мной Титов, присматривается, молчит, словно ожидает чего-то от меня. Неловко мне.

Весёлым я никогда не был, а в то время и совсем сумрачен стал; говорить – не с кем да и не хочется.

Мутно было на душе у меня, не нравились мне Титовы подозрительной тишиной жизни своей. Стал я ходить в церковь, помогать сторожу Власию да новому дьячку, – этот был молодой, красивый, из учителей какой-то; к службе лентяй, с попом подхалим, руку ему целует, собачкой бегаёт за ним по пятам. На меня кричит, а – напрасно, потому что я службу знал не хуже его и делал всё как надо.

В ту пору и начал я трудную жизнь мою – бога полюбил.

Поправляя однажды перед всенощной свечи у иконы богородицы, вижу – и она и младенец смотрят на меня серьёзно и задушевно таково... Заплакал я и встал на колени пред ними, молясь о чём-то – за Лариона, должно быть. Долго ли молился – не знаю, но стало мне легче – согрелся сердцем и ожил я.

Власий в алтаре трудился, бормочет там свои непонятные речи. Вошёл я к нему, взглянул он на меня, спрашивает:

– Что обрадовался, али копейку нашёл?

Знал я, почему он так спросил, – часто я деньги на полу находил, – но теперь неприятны показались мне слова его, как бы ущипнул он меня за сердце.

– Богу я помолился, – говорю.

– Которому? – спрашивает. – Их тут у нас больше ста, богов-то! А вот где – живой? Где – который настоящий, а не из дерева, да! Поищи-ка его!

Цена его слов известна мне была, а обидели они меня в тот час. Власий – человек древний, уже едва ноги передвигал, в коленях они у него изогнуты, ходит всегда как по жёрдочке, качаясь весь, зубов во рту – ни одного, лицо тёмное и словно тряпка старая, смотрят из неё безумные глаза. Ангел смерти Власия тоже древен был – не мог поднять руку на старца, а уже разума лишился человек: за некоторое время до смерти Ларионовой овладел им бред.

– Не церкви, – говорит, – я сторож, а скоту: пастух я, пастухом родился и так умру! Вот – скоро отойду от церкви в поле.

Известно было – скота он никогда не пас.

– Церковь, – говорит, – то же кладбище, место мёртвое, а я – к живому делу хочу, скотинку пасти надобно мне, все мои деды пастухами были, и я тоже до сорока двух лет.

Ларион смеялся над ним и однажды, смеясь, спросил:

– Был в древности Велес, скотий бог, – не пращур ли твой?

Заставил его Власий рассказать про Велеса подробно, а выслушав, говорит:

– Так и есть! Я давно знаю, кто я таков, да боюсь попа! Ты погоди, дьячок, не говори ему!

Придёт время – я сам скажу, да...

На этом и остановился старик.

И вот, хотя знаю я безумие его, а смущает он меня.

– Смотри, – говорю, – разразит тебя бог!

А он шамкает:

– Я сам – бог! Да!

И вдруг, запнувшись за подножие, едва не упал, а я понял это как знамение.

Ревностно полюбил я церковное; со всем жаром сердца ребячьего окунулся в него, так, что всё священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвечники и кадило, самые угли в нём – и те дороги! Ко всему прикасаюсь с трепетом, с жуткой радостью, в алтарь войду – сердце замирает, камни пола готов целовать. Чувствую себя в луче ока всевидящего, и направляет оно шаги мои, обнимая силою нездешнюю, грея светом ярким, от которого глаза слепнут и не видит человек ничего кроме, как только себя. Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, а на сердце – светло, ибо в нём – бог и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять.

Начал книги читать церковные – все, что были; читаю – и наполняется сердце моё звонном красоты божественного слова; жадно пьёт душа сладость его, и открылся в ней источник благодарных слёз. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени перед образом Троицы и лью слёзы, легко и покорно, без дум и без молитвы: нечего было просить мне у бога, бескорыстно поклонялся я ему.

Помню Ларионовы слова:

– Иже уста твоя моляся – воздуху молятся, а не богу; бог бо мыслям внимает, а не словам, яко человеки.

А у меня даже и мыслей не было: просто стою на коленях и как бы молча радостную песнь пою, радуюсь же тому, что понимаю – не один я на свете, а под охраной божией и близко ему.

Было это время хорошо для меня, время тихо-радостного праздника. Любил я один во храме быть, и чтобы ни шума, ни шелеста вокруг – тогда, в тишине, пропадал я, как бы возносился на облака, с высоты их все люди незаметны становились для меня и человеческое – невидимо.

Но Власий мешал мне: шаркает ногами по плитам пола, дрожит, как тень дерева на ветре, и бормочет беззубым ртом:

– Не к чему мне тут быть, разве это моё дело! Сам я бог, пастырь всего скота земного, да! И уйду завтра в поле! На что загнали меня сюда, в холод, в темноту?. Моё ли дело?

Тревожил он меня кощунством своим, – думалось мне – нарушает он чистоту храма, и богу обидно видеть его в доме своём.

О ту пору замечено было благочестие и рвение моё, так что поп стал при встрече как-то особенно носом сопеть и благословлял меня, а я должен был руку ему целовать – была она всегда холодная, в поту. Завидовал я его близости к тайнам Божиим, но не любил и боялся.

А Титов всё зорче смотрел на меня маленькими, тусклыми, как пуговицы, глазками. Все они обращались со мной осторожно, словно я стеклянный был, а Ольгунька не раз тихонько спрашивала меня:

– Ты святой?

Робела она предо мною, даже когда я ласков с нею бывал и рассказывал ей жития или что другое, церковное. Зимой по вечерам я пролог или mineю вслух читал. За окнами выюга бесприютная по полю мечется, в стены стучит, стонет и воет, озябшая. В комнате тихо, все сидят, не шелохнутся; Титов голову низко опустит, не видать его лица, Настасья неподвижными глазами смотрит на меня, Ольгунька дремлет, ударит мороз – она вздрогнет, оглянется и тихонько улыбнётся мне. Иной раз, не поняв какое-нибудь слово церковное, переспросит она – прозвенит мягкий голосок её, и снова тихо, только выюга крылатая жалобно поёт, ищет отдыха, по полю летая.

Те святые мученики, кои боролись за господу, жизнью и смертью знаменуя силу его, – эти были всех ближе душе моей; милостивцы и блаженные, кои людям отдавали любовь свою, тоже трогали меня, те же, кто бога ради уходили от мира в пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мне: слишком силён был для них сатана.

Ларион отвергал сатану, а надо было принять его, жития святых заставили – без сатаны непонятно падение человека. Ларион видел бога единым творцом мира, всесильным и непобедимым, – а откуда же тогда безобразное? По житиям святых выходило, что мастер всего безобразного и есть сатана. Я и принял его в такой должности: бог создает вишню, сатана – лопух, бог – жаворонка, сатана – сову.

Но вышло как-то так, что хоть я и признал сатану, а не поверил в него и не убоился; служил он для меня объяснением бытия зла, но в то же время мешал мне, унижая величие божие. Старался я об этом не думать, но Титов постоянно наводил меня на мысли о грехе и силе дьявола.

Читаю я, а он, вдруг и не показывая глаз, спрашивает:

– Матвей, что значит – камо?

Отвечаю:

– Куда...

Помолчав, он говорит:

– Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?

Жена его глубоко вздохнёт и ещё более испуганно смотрит на меня, чего-то ожидая. И Ольга, мигая синими глазками, предлагает:

– А – в лес?

– Гряду – значит иду? – спрашивает Титов.

– Да.

Вынул он, помню, руки из карманов и стал крутить обеими свои длинные усы, а брови на лбу у него дрожат. Потом быстро спрятал руки и говорит:

– Это царь Давид спрашивал – камо бегу! Царь, а боялся! Видно, дьявол-то много сильнее его был. Помазанник божий, а сатана одолел... Камо гряду? К чёрту в лапы грядёшь – и спрашивать нечего! Вот оно как! Значит – нам, холопам, нечего и вертеться, коли цари туда поспевают.

Ходил он по этой тропе часто, и хотя я речей его не понимал, – неприятны они мне были всегда. О благочестии моём всё больше говорили, и вот Титов начал внушать мне:

– Молись усердно за меня и за всю мою семью, Матвей! Очень я тебя прошу – молись! Пусть это будет платой твоей за то, что приютил я тебя в тепле и в ласке.

А мне что? Молитва моя без содержания была, вроде птичьей песни солнцу, – стал я молиться за него и за жену, а больше всего за Ольгуньку, – очень хорошая девочка росла, тихая, красивая, нежная. Обращался я к богу словами псалмов Давидовых, а также всеми другими молитвами, какие знал, и было приятно мне твердить про себя складные, певучие слова, но как только вспомню Титова, скажу: «Помилуй, господи, велиею милостию твоею раба твоего Георгия...» – и вдруг остынет сердце, и как бы иссякнет ручей молитвословия моего, замутится ясность радости, словно стыдно мне перед богом, – не могу больше! И, потупя глаза, чтобы не видеть лика на иконе, встаю на ноги, не то – огорчён, не то – сконфужен. Беспокоило это меня – почему так случается? Старался понять и не мог, а жалко было мне, когда исчезала радость моя, разбиваясь об этого человека.

Как заметили меня люди, то и я стал их замечать.

Бывало, в праздник выйду на улицу – народ смотрит на меня любопытно, здороваются со мной иные степенно, а иной – со смешком, но все видят.

– Вот, – говорят, – молитвенник наш!

– Гляди, Матвей, святым будешь, пожалуй?

– А вы не смейтесь, ребята, – он не поп, не за деньги в бога верует!

– Али мужиков во святых не было?

– От нас – всякая душа, да нам пользы ни шиша!

– Разве он мужик? Он тайный баринок!..

И лестно говорят и обидно.

Был у меня в то время особый строй души – хотелось мне со всеми тихо жить и чтобы ко мне тоже все ласковы были; старался я достигнуть этого, а насмешки мешали мне.

Особенно донимал меня Мигун: увидит, бывало, встанет на колени, кланяется и причитает:

– Вашей святости – земной поклон! Помолитесь-ко за Савёлку, не будет ли ему от бога толку? Научите, как господу угодить – воровать мне погодить, али – как побольше стащу – поставить пудовую свещу?

Народ хохочет, а мне и странно и досадно слышать Савёлкины издёвки.

А он своё:

– Православные, кланяйтесь праведнику! Он мужика в конторе обсчитает – в церкви книгу зачитает, богу и не слышно, как мужик ревёт.

Мне тогда лет шестнадцать было, и мог бы я ему рожу разбить за эти насмешки, но вместо этого стал избегать Мигуна, а он это заметил и пуще мне прохода не даёт. Песню сочинил; в праздники ходит по улице и поёт, наигрывая на балалайке:

Баре девок обнимают,  
Девки брюхо наживают.  
Да от барских от затей  
Родят сукиных детей!

Их подкидывают барам,  
Да – не кормят баре даром;  
И сажают их в конторе  
На мужицкое на горе!

Длинная песня была, всем в ней доставалось, а Титову и мне – больше всех. Доводил меня Савёлка до того, что, как увижу я, бывало, его дрянную эту бородёнку, шапку на ухе и лысый лоб, – начинаю весь дрожать; так бы кинулся и поломал его на куски.

Но хоть и мал юноша был я тогда, а сердце умел держать крепко; он идёт за мной, тренькает, а я виду не показываю, что тяжело мне, шагаю не спеша и будто не слышу ничего.

Молиться ещё больше стал – чувствую, что, кроме молитвы, нечем мне оградить себя, но теперь явились в молитвах моих жалобы и горькие слова:

– За что, господи? Виноват ли я, что отец-мать мои отреклись от меня и, подобно котёнку, в кусты бросили младенца?

А другой вины не видел за собой – люди в жизни смешанно стоят, каждый к делу своему привык, привычку возвёл в закон, – где же сразу понять, против кого чужая сила направляет тебя?

Ну, а всё-таки начал я присматриваться, ибо всё более беспокойно и нестерпимо становилось мне.

Барин наш, Константин Николаевич Лосев, богат был и много земель имел; в нашу экономию он редко наезжал: считалась она несчастливой в их семействе, в ней баринову мать кто-то задушил, дед его с коня упал, разбился, и жена сбежала. Дважды видел я барина: человек высокий, полный, в золотых очках, в поддёвке и картузе с красным околышком; говорили, что

он важный царю слуга и весьма учёный – книги пишет. Титова однако он два раза матерно изругал и кулак к носу подносил ему.

В Сокольей экономии Титов был – вся власть и сила. Имение – невелико, хлеба сеяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикам в аренду шла; потом было приказано аренду сокращать и сеять лён, – неподалёку фабрика открылась.

Кроме меня, в уголке конторы сидел Иван Макарович Юдин, человечек немой души и всегда пьяненький. Телеграфистом он был, да за пьянство прогнали его. Вёл он все книги, писал письма, договоры с мужиками и молчал так много, что даже удивительно было; говорят ему, а он только головой кивает, хихикает тихонько, иной раз скажет:

– Так.

И тут – весь.

Маленький он был, худой, а лицо круглое, отёчное, глаз почти не видно, голова лысая, а ходил на цыпочках, без шуму и неверно, точно слепой.

В день Казанской опоили мужики Юдина вином, а как умер он, – остался я в конторе один для всего: положил мне Титов жалованья сорок рублей в год, а Ольгу заставил помогать.

И раньше видел я, что мужики ходят около конторы, как волки над капканом: им капкан видно – да есть охота, а приманка зовёт, ну, они и попадают.

Когда же остался я один в конторе, раскрылись предо мною все книги, планы, то, конечно, и при малом разуме моём я сразу увидел, что всё в нашей экономии – ясный грабёж, мужики кругом обложены, все в долгу и работают не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мне, – не могу. И хоть понял, за что Савёлка лается, но не счёл его правым, – ведь не я грабёж выдумал!

Вижу, что и Титов не чист перед хозяином – набивает он карман себе как можно туго. Держал я себя перед ним и раньше смело, понимая, что нужен ему для чего-то, а теперь подумал: для того и нужен, чтобы перед богом его, вора, прикрывать.

Милым сыном в то время называл он меня и жена его тоже; одевали хорошо, я им, конечно, спасибо говорю, а душа не лежит к ним, и сердцу от ласки их нисколько не тепло. А с Ольгой всё крепче дружился: нравилась мне тихая улыбка её, ласковый голос и любовь к цветам.

Титов с женой ходили перед богом спустя головы, как стреноженные лошади, и будто прятали в покорной робости своей некий грех, тяжелейший воровства. Руки Титова не нравились мне – он всё прятал их и этим наводил на мысли нехорошие – может, его руки человека задушили, может, в крови они?

И всегда – и он и она – просят меня:

– Молись за нас грешных, Мотя!

Однажды я, не стерпев, сказал:

– Али вы сильно грешнее других?

Настасья вздохнула и ушла, а сам отвернулся в сторону, не ответив мне.

Дома он всегда задумчив, говорит с женой и дочерью мало и только о делах. С мужиками никогда не ругался, но был высокомерен – это хуже материцы выходило у него. Никогда ни в чём не уступал он им: как скажет, так и стоит, словно по пояс в землю ушёл.

– Уступить бы им! – сказал я ему однажды.

Ответил он:

– Никогда ни вершка не уступай людям, иначе – пропадёшь!

Другой раз, – заставлял он меня неверно считать, – я ему говорю:

– Так нельзя!

– Отчего?

– Грех.

– Не ты меня заставляешь грешить, а я тебя. Пиши, как велю, с тебя не спросится, ты – только рука моя! Праведность свою не нарушишь этим, не бойся! А на десять рублей в месяц ни я, ни кто не уловится правильно жить. Это – пойми!

«Ах ты, – думаю, – дрянцо с пыльцой!»

– Довольно! – говорю. – Всё это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый раз буду обличать дела ваши на селе.

Поднял он усы к носу, оскалил зубы и вытаращил круглые глаза свои. Меряем друг друга, кто выше. Тихо спрашивает он:

– Верно?

– Верно!

Засмеялся Титов, словно горсть двугривенных на пол швырнул, и говорит:

– Ладно, праведник! Оно, пожалуй, так и надо мне – надоело уж около рублей копейки ловить. Стало вора́м тесно – зажали честно!

И ушёл, хлопнув дверью, так что даже стёкла в окнах заныли.

Показалось мне, как будто сократился Титов с того дня, ко мне перестал приставать.

Был он большой скопидом, и хотя ни в чём себе не отказывал, но цену копейке знал. В пище сластолюбив и до женщин удивительно жаден, – власть у него большая, отказать ему бабы не смеют, а он и пользуется; девиц не трогал, видимо – боялся, а женщины – наверное, каждая хоть раз, да была наложницей его.

И меня к этому не раз поджигал:

– Чего ты, – говорит, – Матвей, стесняешься? Женщину поять – как милостыню подать! Здесь каждой бабе ласки хочется, а мужья – люди слабые, усталые, что от них возьмёшь? Ты же парень сильный, красивый, – что тебе стоит бабу приласкать? Да и сам удовольствие получишь...

Он ко всякой подлости сбоку заходил, низкий человек.

Однажды спрашивает меня:

– Ты как, Матвей, думаешь – силён праведник у господа?

Не любил я вопросы его.

– Не знаю, – говорю.

Подумал он – и снова:

– Вот, вывел бог Лота из Содома и Ноя спас, а тысячи погибли от огня и воды. Однако сказано – не убий? Иногда мне мерещится – оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видел бог, что и при столь строгих законах его удаётся некоторым праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было в Содоме – видел бы господь, что, значит, никому невозможно соблюдать законы его, и, может, смягчил бы законы, не губя множество людей. Говорится про него: многомилостив, – а где же это видно?

Не понимал я в ту пору, что человек этот ищет свободы греха, но раздражали меня слова его.

– Кошунствуете вы! – говорю. – Боятесь бога, а не любите его!

Выхватил он руки из карманов, бросил их за спину, посерел, видно, что озлобился.

– Так или нет – не знаю! – отвечает. – Только думается мне, что служите вы, богомолы, богу вашему для меры чужих грехов. Не будь вас – смешался бы господь в оценке греха!

Долго после того не замечал он меня, а в душе моей начала расти нестерпимая вражда к нему, – хуже Мигуна стал он для меня.

В ночь на молитве помянул я имя его – вспыхнула душа моя гневом и, может быть, в тот час сказал я первую человеческую молитву мою:

– Не хочу, господи, милости твоей для вора: кары прошу ему! Да не обкрадывает он нищие безнаказанно!

И так горячо говорил я против Титова, что даже страшно стало мне за судьбу его.

А вскоре после того столкнулся я с Мигуном – пришёл он в контору лыка просить, а я один был в ней.

Спрашиваю:

– Ты, Савёл, за что издеваешься надо мною?

Он показывает зубы свои, воткнув мне в лицо острые глаза.

– Моё, – говорит, – дело невелико, пришёл просить лыка!

Ноги у меня дрожат и пальцы сами собой в кулак сжимаются; взявши за горло, встряхнул я его немножко.

– В чём я виноват?

Он не испугался, не обиделся, а просто взял мою руку и отвёл её от шеи своей, как будто не я его, а он меня сильнее.

– Когда, – говорит, – человека душат, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякие побои видал – твои для меня лишни. И драться тебе не надо, этак ты все заповеди опрокинешь.

Говорит он спокойно, шутя, легко. Я кричу ему:

– Что тебе надо?

– Лыка.

Вижу – на словах мне его не одолеть, да и злость моя прошла, только обидно мне пред ним.

– Зверьё, – говорю, – все вы! Разве можно над человеком смеяться за то, что его отец-мать бросили?

А он в меня прибаутками, словно камнями, лукает:

– Не притворяйся нищим, мы правду същем: ты ешь крадён хлеб не потому, что слеп.

– Врёшь, – мол, – я за свой кусок тружусь...

– Без труда и курицу не украдёшь, это известно!

Смотрит на меня с бесовой усмешкой в глазах и говорит жалостливо:

– Эх, Матвей, хорош ты был дитя! А стал книгочей, богоед и, как все земли нашей воры, строишь божий закон на той беде, что не всем руки даны одной длины.

Вытолкал я его вон из конторы. Прибаутки его не хотел я понять, потому что, считая себя верным слугой бога, и мысли свои считал вернейшими мыслей других людей, Становилось мне одиноко и тоскливо, чувствую – слабеет душа моя.

Жаловаться на людей – не мог, не допускал себя до этого, то ли от гордости, то ли потому, что хоть и был я глуп человек, а фарисеем – не был. Встану на колени перед знаменем Аба-лацкой богородицы, гляжу на лик её и на ручки, к небесам подъятые, – огонёк в лампаде моей мелькает, тихая тень гладит икону, а на сердце мне эта тень холодом ложится, и встаёт между мною и богом нечто невидимое, неосязаемое, угнетая меня. Потерял я радость молитвы, опечалился и даже с Ольгой неладен стал.

А она смотрит на меня всё ласковее: мне в то время восемнадцать лет минуло, парень видный и кудрявый такой. И хотел я и неловко мне было ближе к ней подойти, я тогда ещё невинен перед женщиной жил; бабы на селе смеялись за это надо мной; иногда мне казалось, что и Ольга нехорошо улыбается. Не раз уже сладко думал про неё:

«Вот – жена мне!»

Сидел я с нею в конторе молча целые дни, спросит она меня что-нибудь по делу, отвечу ей – тут и вся наша беседа.

Тонкая она, белая, глаза синие, задумчивые, но была она красива и легка в тихой и неведомой мне печали своей.

И однажды спросила она:

– Что ты, Матвей, стал угрюмый?

Никогда я про себя ни с кем не говорил и не думал, хотел говорить, а тут вдруг открылось сердце – и всё пред нею, все занозы мои повыдергал. Про стыд мой за родителей и насмешки надо мной, про одиночество и обеднение души, и про отца её – всё! Не то, чтобы жаловался я, а просто вывел думы изнутри наружу; много их было накоплено, и все – дрянь. Обидно мне, что – дрянь.

– Лучше в монастырь идти! – говорю.

Затуманилась она, опустила голову и ничем не ответила мне. Была мне приятна печаль её, а молчание – опечалило меня. Но дня через три – тихонько говорит она мне:

– Напрасно ты на людей столько внимания обращаешь; каждый живёт сам собой – видишь? Конечно, теперь ты один на земле, а когда заведёшь семью себе, и никого тебе не нужно, будешь жить, как все, за своей стеной. А папашу моего не осуждай; все его не любят, вижу я, но чем он хуже других – не знаю! Где любовь видно?

Утешают меня её слова. Я всегда всё сразу делаю – так и тут поступил:

– Ты бы, – говорю, – пошла замуж за меня?

Отвернулась она, шепчет:

– Пошла бы...

Кончено. На другой день я сказал Титову: так и так, мол.

Усмехнулся он, усы расправил и начал душу мне скрести.

– В сыновья ко мне – прямой путь для тебя, Матвей: надо думать, это богом указано, я не спорю! Парень ты серьёзный, скромн и здоров, богомолец за нас, и по всем статьям – клад, без лести скажу! Но, чтобы сытно жить, надо уметь дела делать, а наклон к деловитости слаб у тебя. Это – одно. Другое – через два года в солдаты тебя позовут, и должен ты идти. Будь у тебя деньжонки накоплены, рублей пятьсот, можно бы откупиться от солдатчины, уж я бы это устроил... А без денег – уйдёшь ты, тогда останется Ольга ни замужней, ни вдовой...

Пилит он мне сердце тупыми словами своими, усы у него дрожат и в глазах зелёный огонёк играет. Встаёт предо мною солдатство, страшно и противно душе – какой я солдат? Уже одно то, что в казарме надо жить всегда с людьми, – не для меня. А пьянство, матерщина, зуботычины? В этой службе всё против человека, знал я. Придавили меня речи Титова.

– Значит, – говорю, – в монахи йду!..

– Теперь – опоздал! – смеется Титов. – Сразу – не постригут, а послушника – возьмут в солдаты. Нет, Матвей, кроме денег, ничем судьбу не подкупишь!

Тогда я говорю ему:

– Дайте вы денег, ведь у вас много!

– Ага! – говорит. – Это ты просто придумал. Только хорошо ли для меня этак-то? Сообрази: я мои деньги, может быть, большим грехом купил, может, я за них душу чёрту продал. Пока я в грехах пачкался, – ты праведно жил, да и теперь того же хочешь, за счёт моих грехов? Легко праведному в рай попасть, коли грешник его на своём хребте везёт, – только я не согласен конём тебе служить! Уж ты лучше сам погреси, тебе бог простит, – чай, ты вперёд у него заслужил!

Смотрю – вид у Титова такой, словно он вдруг на сажень выше меня вырос, и я где-то у ног его ползу. Понял я, что издевается он надо мной, кончил разговор, а вечером передал Ольге речи её отца. Заблестели слёзы на глазах у девушки, а около уха у неё задрожала какая-то малая синенькая жилка, и трепет этот жалостный откликнулся в сердце у меня. Говорит Ольга, улыбаясь:

– Вот и не выйдет, как мы хотим...

– Нет, – мол, – выйдет!

Сказал, не думая, но как бы слово этим дал и ей и себе, – слово, отступить от которого нельзя.

С того дня нечисто зажил я; началась для меня какая-то тёмная и пьяная полоса, замесался парень, как голубь на пожаре в туче дымной. И Ольгу мне жалко, и хочется её женой иметь, люблю девушку, а главное – вижу, что Титов в чём-то крепче и устойчивей меня, а это несносно для гордости моей. Презирал я воровские дела и всю тёмную душу его, а вдруг открылось, что живёт в этой душе некая сила и – властно смотрит она на меня!

На селе стало известно, что я сватался и отказано мне; девки усмеваются, бабы галдят, Савёлка шутки шутит, и всё это поднимает меня на дыбы, замутило душу до полной тьмы.

Встану я молиться, а Титов словно сзади стоит и в затылок мне дышит, оттого молюсь я несуразно, кощунственно, не о господе радуюсь, а думаю о делах своих – как мне быть?

– Помоги, – говорю, – господи, и научи мя, да не потеряю путей твоих и да не угрязнет душа моя во грехе! Силён ты и многомилостив, сохрани же раба твоего ото зла и одари крепостью в борьбе с искушением, да не буду попропан хитростью врага и да не усумнюсь в силе любви твоей к рабу твоему!

Так низвёл я господу с высоты неизречённых красот его на должность защитника малых делишек моих, а бога унизив, и сам опустил до ничтожества.

Ольга же день ото дня тает в печали, как восковая свеча. Думаю, как она будет жить с другим человеком, и не могу поставить рядом с ней никого, кроме себя.

Силою любви своей человек создаёт подобного себе, и потому думал я, что девушка понимает душу мою, видит мысли мои и нужна мне, как я сам себе. Мать её стала ещё больше унылой, смотрит на меня со слезами, молчит и вздыхает, а Титов прячет скверные руки свои и тоже молча ходит вокруг меня; вьётся, как ворон над собакой издыхающей, чтоб в минуту смерти вырвать ей глаза. С месяц времени прошло, а я всё на том же месте стою, будто дошёл до крутого оврага и не знаю, где перейти. Тяжело было.

Однажды приходит Титов в контору и говорит мне негромко:

– Вот, Матвей, на твоё счастье явился случай – хватай его, коли хочешь человеком быть!

Случай был такой, что мужики должны были много проиграть, экономия кое-что выиграла бы, а Титову могло попасть рублей около двухсот.

Рассказал мне и спрашивает:

– Что, не осмелишься?

Спроси иначе, – может, я и не пошёл бы в руки к нему, а от этих слов – взорвало меня.

– Воровать не осмелюсь? – говорю. – Тут смелости не нужно, только подлость одна. Давайте, будем воровать!

Усмеается он, мерзавец, спрашивает:

– А грех?

– А грехи мои – я сам сочту.

– Ну и ладно! – говорит. – Теперь – знай: что ни день, то к свадьбе ближе!

Словно волка на козлёнка, ловил он меня, дурака, в капкан.

И – началось. В делах я был не глуп, а дерзость всегда большую имел. Начали мы с ним грабить народ, словно в шашки играем, – он сделает ход, а я – ещё злее. Оба молчим, только поглядываем друг на друга, он – со смешком зелёным в глазах, я – со злостью. Одолел меня этот человек, но, и проигравши ему всё, даже в поганом деле не мог я ему уступить. Лён принимая, стал обвешивать, штрафы за поправу утаивал, всячески копейки щипал с мужиков, но денег не считал и в руки не брал, – всё Титову шло; конечно, легче мне от этого не было, и мужикам тоже.

Словом сказать, был я в ту пору как бешеный, в груди холодно; бога вспомню – как обожжёт меня. Не однажды всё-таки упрекал его:

– Почто, – мол, – не поддержишь силою твоею падение моё; почто возложил на меня испытание не по разуму мне, али не видишь, господи, погибает душа моя?

Были часы, что и Ольга чужой становилась мне; гляжу на неё и враждебно думаю:

«Тебя ради душой торгую, несчастная!»

А после этих слов станет мне стыдно пред нею, стану я тих и ласков с девушкой, как только могу.

Но – поймите – не от жалости к себе али к людям мучился я и зубами скрипел, а от великой той обиды, что не мог Титова одолеть и предал себя воле его. Вспомню, бывало, слова его о праведниках – оледенею весь. А он, видимо, всё это понимал.

Торжествует. Говорит:

– Ну, святоша, надо тебе о келейке думать, – с нами жить тесно будет для тебя с женою, дети у вас пойдут!

Святошей назвал. Я смолчал.

И всё чаще стал он так называть меня, а дочь его всё милее, всё ласковее со мною – понимала, как трудно мне.

Выклянчил Титов кусок земли, – управляющему Лосева поклонялся, – дали ему хорошее местечко за экономией; начал он строить избу для нас, а я – всё нажимаю, жульничаю. Дело идёт быстро, домик строится, блестит на солнце, как золотая коробочка для Ольги. Вот уже под крышу подвели его, надо печь ставить, к осени и жить в нём можно бы.

Только раз, под вечер, иду я из Якимовки, – скот у мужиков описывал за долги, – вышел из рощи к селу, гляжу – а на солнечном закате горит мой дом, – как свеча горит!

Сначала я подумал, что это солнце шутит – обняло его красными лучами и поднимает вверх, в небеса к себе, однако вижу – народ суетится, слышу – огонь свистит, дерево потрескивает.

Вспыхнуло сердце у меня, вижу бога врагом себе, будь камень в руке у меня – метнул бы его в небо. Гляжу, как воровской мой труд дымом и пеплом по земле идёт, сам весь пылаю вместе с ним и говорю:

– Хочешь ли ты указать мне, что ради праха и золы погубил я душу мою, – этого ли хочешь? Не верю, не хочу унижения твоего, не по твоей воле горит, а мужики это подожгли по злобе на меня и на Титова! Не потому не верю в гнев твой, что я не достоин его, а потому, что гнев такой не достоин тебя! Не хотел ты подать мне помощи твоей в нужный час, бессильному, против греха. Ты виноват, а не я! Я вошёл в грех, как в тёмный лес, до меня он вырос, и – где мне найти свободу от него?

Не то, чтобы утешали меня эти глупые слова... И ничего не оправдывали они, но будили в душе некое злое упрямство.

Догорел мой дом раньше, чем угасло возмущение моё. Я всё стою на опушке рощи, прислоняюсь к дереву, и веду мой спор, а белое Ольгино лицо мелькает предо мной, в слезах, в горе.

Говорю я богу дерзко, как равному:

– Коли ты силён, то и я силён, – так должно быть, по справедливости!

Погас пожар, стало тихо и темно, но во тьме ещё сверкают языки огня, – точно ребёнок, устав плакать, тихо всхлипывает. Ночь была облачная, блестела река, как нож кривой, среди поля потерянный, и хотелось мне поднять тот нож, размахнуться им, чтобы свистнуло над землёй.

Около полуночи пришёл я в село – у ворот экономии Ольга с отцом стоят, ждут меня.

– Где же ты был? – говорит Титов.

– На горе стоял, на пожар глядел.

– Чего же не бежал тушить?

– Чудотворец я, что ли, – плюну в огонь, а он и погаснет?..

У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, в дыму закоптела – смешно мне видеть это.

– Работала? – спрашиваю.

Залилась она слезами.

Титов угрюмо говорит:

– Не знаю, что и делать...

– Сначала, – мол, – надо строить!

Во мне тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчас же готов был брёвна катать и венцы вязать, и до конца бы всю работу сразу мог довести, потому что хоть я волю бога и оспаривал, а надо было мне наверное знать, – он это против меня или нет?

И снова началось воровство. Каких только хитростей не придумывал я! Бывало, прежде-то по ночам я, богу молясь, себя не чувствовал, а теперь лежу и думаю, как бы лишний рубль в карман загнать, весь в это ушёл, и хоть знаю – многие в ту пору плакали от меня, у многих я кусок из горла вырвал, и малые дети, может быть, голодом погибли от жадности моей, – противно и пакостно мне знать это теперь, а и смешно, – уж очень я глуп и жаден был!

Лики святые смотрят на меня уже не печальными и добрыми глазами, как прежде, а – подстерегают, словно Ольгин отец. Однажды я у старосты с конторки полтинник стянул – вот до какой красоты дошёл!

И раз выпало мне что-то особенное – подошла ко мне Ольга, положила руки свои лёгкие на плечи мои и говорит:

– Матвей, господь с тобой, люблю я тебя больше всего на свете!

Удивительно просто сказала она эти светлые слова, – так ребёнок не скажет «мама». Обога-тател я силой, как в сказке, и стала она мне с того часа неоценимо дорога. Первый раз сказала, что любит, первый раз тогда обнял я её и так поцеловал, что весь перестал быть, как это слу-чалось со мной во время горячей молитвы.

К покрову дом наш был готов – пёстрый вышел, некоторые брёвна чёрные, обгорелые. Вскоре и свадьбу справили мы; тесть мой пьян нализался и всё время хохотал, как чёрт в удаче; тёща смотрела на нас, плакала, – молчит, улыбается, а по щекам слёзы текут.

Титов орёт:

– Эй, не плачь! Какой у нас зять, а? Праведник!

И матерно ругается.

Гости были важные, – поп, конечно, становой, двое волостных старшин и ещё разные осетры, а под окнами сельский народ собрался, и в нём Мигун – весёлый человек. Балалайка его тренькает.

Я у окна сидел, тонкий голос Савёлкин доходит до меня, хоть и боится он громко шутить, а, слышу я, распевает:

Напились бы вы скорее да полопались!

А наелись бы вы досталь да и треснули!

Насмешки его понравились мне тогда, хоть не до него было, – жмётся ко мне Ольга и шепчет:

– Кончилось бы скорее всё это, еда и питьё!

Тошно было ей глядеть на жадность людскую, да и мне противно.

Как познали мы с нею друг друга, то оба заплакали, сидим на постели обнявшись, и пла-чем, и смеёмся от великой и не чаянной нами радости супружества. До утра не спали, целова-лись всё и разговаривали, как будем жить; чтобы видеть друг друга – свечу зажгли.

Говорила она мне, обнимая тёплыми руками:

– Будем жить так, чтобы все любили нас! Хорошо с тобой, Матвей!

Оба мы были как пьяные от неизречённого счастья нашего, и сказал я ей:

– Пусть меня поразит господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по вине моей другими сле-зами заплачешь!

А она:

– Я, – говорит, – от тебя всё приму, буду тебе мать и сестра, одинокий ты мой!

Зажили мы с ней, как в сладком бреду. Дело я делаю спустя рукава, ничего не вижу и видеть не хочу, тороплюсь всегда домой, к жене; по полю гуляем с нею, ходим в лес.

Вспомнил старину – птиц завёл, дом у нас светлый, весёлый, всюду на стенах клетки висят, птицы поют. Жена, тихая, полюбила их; приду, бывало, домой, она рассказывает, что синица делала, как щур пел.

По вечерам я mineю или пролог читал, а больше про детство своё рассказывал, про Лариона и Савёлку, как они богу песни пели, что говорили о нём, про безумного Власия, который в ту пору скончался уже, про всё говорил, что знал, – оказалось, знал я много о людях, о птицах и о рыбах.

Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умеет человек рассказать о радостях своих, не приучен тому, – редки радости его, коротки во времени.

Ходим в церковь с женой, встанем рядом в уголок и дружно молимся. Молитвы мои благодарные обращал я богу с похвалой ему, но и с гордостью – такое было чувство у меня, словно одолел я силу божию, против воли его заставил бога наделить меня счастьем; уступил он мне, а я его и похваляю: хорошо, мол, ты, господи, сделал, справедливо, как и следовало!

Эх, язычество нищенское!

Зиму прожил я незаметно, как один светлый день; объявила мне Ольга, что беременна она, – новая радость у нас. Тесть мой угрюмо крикает, тёща смотрит на жену мою жалостливо и всё что-то нашёптывает ей. Затеваю я своё дело начать, думал пчельник устроить, назвать его, для счастья, Ларионовым, разбить огород и заняться птицеводством – всё это дела для людей безобидные.

Как-то раз Титов говорит мне сурово таково:

– Ты, Матвей, больно рано обсахарился, гляди – скоро прокиснешь! Летом ребёнок родится у тебя – али забыл?

Мне давно хотелось правду сказать ему, как я в то время понимал её, и вот говорю:

– Сколько надо было мне греха сделать – сделал я, поравнялся с вами, чего вам хотелось, – ну, а ниже вас не буду стоять!

– Не понимаю, – говорит, – что ты хочешь мне доказать! Я тебе говорю просто: семьдесят два рубля в год для семейного не деньги, а дочернино приданое я тебе не позволю проедать! Думай! Мудрость же твоя – просто злость против меня, что я тебя умнее, и пользы в ней – ни тебе, ни мне. Всякий свят, пока черти спят!

Трудно было, а, жалеючи Ольгу, сдержался я, не избил его.

На селе известно стало, что я с тестем не в ладу живу, стал народ поласковее глядеть на меня. Сам же я от радостей моих мягче стал, да и Ольга добра сердцем была – захотелось мне расплатиться с мужиками по возможности. Начал я маленько мирволить им: тому поможешь, этого прикроешь. А в деревне – как за стеклом, каждый твой взмах руки виден всем. Злитесь Титов:

– Опять, – говорит, – хочешь бога подкупить?

Решил я бросить контору, говорю жене:

– Шесть рублей в месяц – и больше – я на птицах возьму!

Опечалилась подруга моя.

– Делай, как знаешь, только не остаётся бы нищими! Жалко, – говорит, – папашу: хочет он тебе добра и много принял греха на душу ради нас...

«Эх, думаю, милая! Село мне его добро под девятое ребро!»

И на другой день сказал тестю, что ухожу. Усмехнулся он, спрашивает:

– В солдаты?

Ожёт! Понимаю я, что напакостить мне – легко для него: знакомства он имеет большие, везде ему почёт, и попаду я в солдаты, как в воду камень. Дочери своей он не пожалует, – у него тоже большая игра с богом была.

И – петля за петлёй на руки мне! Жена тайно плакать начала, глаза у неё всегда красные. Спросишь её:

– Ты что, Оля?

А она говорит:

– Нездоровится.

Помню клятву мою перед ней, неловко, стыдно мне. Один бы шаг ступить, – и решимость есть, – жалко женщину любимую! Не будь её, пошёл бы я в солдаты, только бы Титова избежать.

В конце июня мальчик у нас родился, и снова одурел я на время. Роды были трудные, Ольга кричит, а у меня со страху сердце рвётся. Титов потемнел весь, дрожит, прислонился на дворе у крыльца, руки спрятал, голову опустил и бормочет:

– Умрёт – вся моя жизнь ни к чему, господи, помилуй!.. Будут дети у тебя, Матвей, может, поймёшь ты горе моё и жизнь мою, перестанешь выдумывать себя на грех людям...

Пожалел я его в те часы. Сам хожу по двору – думаю:

«Снова угрожаешь ты мне, господи, опять надо мною рука твоя! Дал бы человеку оправиться, помог бы ему отойти в сторону! Али скуп стал милостью и не в доброту сила твоя?»

Вспоминая теперь эти речи, стыжусь за глупость мою.

Родился ребёнок, переменялась жена моя: и голос у неё крепче стал, и тело всё будто бы выпрямилось, а ко мне она, вижу – как-то боком стоит. Не то, чтобы жадна стала, а начала куски учитывать; уж и милостыню реже подаёт, вспоминает, кто из мужиков сколько должен нам. Долги – пятаки, а ей интересно. Сначала я думал – пройдёт это; я тогда уже бойко птицей торговал, раза два в месяц ездил в город с клетками; бывало, рублей пять и больше за поездку возьмёшь. Корова была у нас, с десятков кур – чего бы ещё надо?

А у Ольги глаза блестят неприятно. Привезу ей подарок из города – жалуется:

– Зачем это? Ты бы деньги-то берёг.

Скучно стало мне, и от этой скуки пристрастился я к птичьей охоте. Уйду в лес, поставлю сеть, повешу чапки, лягу на землю, посвистываю, думаю. В душе – тихо, ничего тебе не надобно. Родится мысль, заденет сердце и падёт в неизвестное, точно камешек в озеро, пойдут круги в душе – волнение о боге.

В эти часы бог для меня – небо ясное, синие дали, вышитый золотом осенний лес или зимний – храм серебряный; реки, поля и холмы, звёзды и цветы – всё красивое божественно есть, всё божественное родственно душе. А вспомнишь о людях, встрепенётся сердце, как птица, во сне испуганная, и недоумённо смотришь в жизнь – не сливается воедино красота божия с тёмной, нищей жизнью человеческой. Светлый бог где-то далеко в силе и гордости своей, люди – тоже отдельно в нудной и прискорбной жизни. Почто преданы дети божии в жертву суете, и голодны, и унижены, и придавлены к земле, как черви в грязи, – зачем это допущено богом? Какая радость ему видеть унижение творений своих? Где есть люди, кои бога видят и чувствуют красоту его? Слеплена душа в человеке чёрной нуждой дневной. Сытость числится радостью и богатство – счастьем, ищут люди свободы греха, а свободы от греха не имеют. И где в них сила отчей любви, где божья красота? Жив бог? Где же – божеское?

Вдруг взметнётся дымом некая догадка или намёк, всё собою покроет, всё опустошит, и в душе, как в поле зимой, пусто, холодно. Тогда я не смел дотронуться словами до этой мысли, но, хотя она и не вставала предо мной одетая в слова, – силу её чувствовал я и боялся, как малый ребёнок темноты. Вскочу на ноги, затороплюсь домой, соберу снасти свои и пойду быстро да песни пою, чтобы оттолкнуть себя в сторону от немощного страха своего.

Стали люди смеяться надо мной, – птицеловов не уважают в деревнях, – да и Ольга тяжело вздыхает, видимо, и ей зазорным кажется занятие моё. Тесть мне притчи читает, я помалкиваю, жду осени; кажется мне, что минует меня солдатчина, – эту яму я обойду.

Жена снова забеременела и с тем вместе начала грустить.

– Что ты, Ольга?

Сначала отнекивалась – ничего, дескать, но однажды обняла меня, заплакала.

– Умру я, – говорит, – родами умру!

Знал я, что женщины часто этак говорят, но испугался. Утешаю – не слушает.

– Снова ты останешься один, – говорит, – не любимый никем. Неуживчивый ты, дерзкий во всём – прошу я тебя, ради детей: не гордись, все богу виноваты, и ты – не прав...

Часто стала она говорить мне подобные речи, и смутился я от жалости к ней, страха за неё. С тестем у меня что-то вроде мира вышло, он сейчас же воспользовался этим по-своему: тут, Матвей, подпиши, там – не пиши. Предлоги важные – солдатство на носу, второй ребёнок близко.

А уже рекрута гулять начали, меня зовут; отказался – стёкла побили.

Настал день, поехал я в город жребий вынимать, жена уже боялась выходить из дома. Тесть меня провожал и всю дорогу рассказывал, какие он труды понёс ради меня и сколько денег истратил и как хорошо всё устроено у него.

– Может, напрасно вы старались, – говорю.

Так и вышло; жребий мой оказался из последних. Титов даже не поверил счастьем моим, а потом сумрачно засмеялся:

– Видно, и вправду бог-то за тебя!

Я – молчу, а несказанно рад; для меня это свобода от всего, что тяготило душу, а главное – от дорогого тестя. Дома – радость Ольгина; плачет и смеётся, милая, хвалит меня и ласкает, словно я медведя убил.

– Слава тебе, господи, – говорит, – теперь я спокойно помру!

Посмеиваюсь я над нею, а самому – жутко, ибо чувствую – верит она в смерть свою, понимаю, что вера эта пагубна, уничтожает она силу жизненную в человеке.

Дня через три начались у неё роды. Двое суток мучилась она страшными муками, а на третий скончалась, разрешившись мёртвеньким; скончалась, как уверила себя, милый мой друг!

Похорон её не помню, ибо некоторое время и слеп и глух был.

Разбудил меня Титов, – было это на могиле Ольгиной. Как теперь вижу – стоит он предо мной, смотрит в лицо мне и говорит:

– Вот, Матвей, второй раз сходимся мы с тобой около мёртвых; здесь родилась наша дружба, здесь и снова окрепнуть бы ей...

Оглядываюсь, как будто я впервые на землю попал: дождь накрапывает, туман вокруг, качаются в нём голые деревья, плывут и прячутся намогильные кресты, всё ограблено холодом, одето тяжкой сыростью, дышать нечем, будто дождь и туман весь воздух пожрали.

Я говорю Титову:

– Что тебе надо?

– Надо мне, чтобы понял ты горе моё. Может быть, и за тебя, за то, что помешал я тебе жить по воле твоей, наказал меня господь смертью дочери...

Таёт земля под ногами, обращаясь в липкую грязь, и, чмокая, присасывает ноги мои.

Сгрёб я его, бросил на землю, словно куль отрубей, кричу:

– Будь ты проклят, окаянный!

И началось для меня время безумное и бессмысленное, – не могу головы своей вверх поднять, тоже как бы брошен на землю гневной рукой и без сил распростёрся на земле. Болит душа обидой на бога, взгляну на образа и отойду прочь скорее: спорить я хочу, а не каяться. Знаю, что по закону должен смиренно покаяться принесть, должен сказать:

«Так, господи! Тяжела рука твоя, а справедлива, и гнев твой велик, но благостен!»

А по совести моей – не могу сказать этих слов, стою потерянный между разными мыслями и не нахожу себя.

Подумаю:

«Не за то ли мне этот удар, что я тайно сомневался в бытии твоём?»

Пугает меня это, оправдываюсь:

«Ведь не в бытии, а только в милосердии твоём сомневался я, ибо кажется мне, что все люди брошены тобою без помощи и без пути!»

И всё это – не то, что тлеет в душе моей, тлеет и нестерпимо жжёт её. Спать не могу, ничего не делаю, по ночам тени какие-то душат меня, Ольгу вижу, жутко мне, и нет сил жить.

Решил удавиться.

Было это ночью, лежал я на постели одетый и маялся; в памяти жена стоит, ни в чём не повинная; синие глаза её тихими огнями теплятся, зовут. В окна месяц смотрит, на полу светлые тропы лежат – на душе ещё темнее от них. Вскочил, взял верёвку от птичьей сети, вбил гвоздь в матицу, петлю сделал и стул подставил. Захотелось мне пиджак снять, снял, ворот у рубахи порвал и вдруг вижу, на стене тайно мелькнуло чьё-то маленькое неясное лицо. Едва не закричал со страха, но понял, что это моё лицо в круглом Ольгином зеркале. Смотрю – вид безумный и жалостный, волосы встрёпаны, щёки провалились, нос острый, рот полуоткрыт, точно задыхается человек, а глаза смотрят оттуда замученно, с великой горечью.

Жалко стало мне человеческого лица, былой его красоты, сел я на лавку и заплакал над собою, как ребёнок обиженный, а после слёз петля явилась стыдным делом, насмешкой надо мной. Обозлился я, сорвал её и швырнул угол. Смерть – тоже загадка, а я – разрешение жизни искал.

Что же мне делать? Прошли ещё какие-то дни, показалось мне, что мира я хочу и надо понудить себя к подаянию, стиснул зубы, к попу пошёл.

В воскресенье, под вечер, явился я к нему. Сидит он с попадьёй за столом, чай пьют, четверо ребят с ними, на чёрном лице попа блестит пот, как рыба чешуя. Встретил меня благодушно.

В комнате тепло и светло, всё в ней чисто, аккуратно; попомнил я, с каким небрежением поп во храме служит, думаю:

«Вот где его храм!»

Нет нужного смирения во мне.

– Что, Матвей, тоскуешь? – спрашивает поп.

– Да, – мол, – тоскую...

– Ага!.. Сорокоуст заказать надо. Во сне не является ли?

– Является, – мол.

– Непременно – сорокоуст!

Молчу. Не могу я при попадье говорить, не любил я её очень; широкая она такая была, лицо большое, жирное, дышит женщина тяжело и зыблется вся, как болото. Деньги в рост давала.

– Молись усердно! – поучает поп. – И не грусти – это будет против господ, он знает, что делает...

Спрашиваю я:

– Знает ли?

– А как же? Эй, – говорит, – парень, известно мне, что ты к людям горд, но – не дерзай перенести гордость твою и на господень закон, – сто крат тяжеле поражён будешь! Уж не Ларионова ли закваска бродит в тебе? Покойник, по пьяному делу, в еретичество впадал, помни сие!

Попадья вмешалась:

– Его бы, Лариона-то, в монастырь надо сослать, да вот отец больно уж добр, не жаловался на него.

– Неправда это, – говорю, – жаловался, но – не за мнения его, а за небрежение по службе, в чём батюшка и сам виноват.

Начался у нас спор. Сначала поп в дерзости меня упрекал, говорил слова, известные мне не хуже его, да ещё и перевирал их, в досаде на меня, а потом и он и попадья просто ругаться стали:

– И ты, – говорят, – и твой тесть – оба грабители, церковь обокрали: Мокрый дол – издавна церковный покос, а вы его оттягали у нас, вот и пристукнул вас господь...

– Это верно, – говорю, – Мокрый дол неправильно отнят у вас, а вами – у мужиков!

Встал, хочу уходить.

– Стой! – кричит поп. – А деньги за сорокоуст?

– Не надо, – мол.

И ушёл, думая:

«Не туда ты, Матвей, душу принёс!»

Дня через три помер ребёнок мой, Саша; принял мышьяк за сахар, полизал его и скончался. Это даже и не удивило меня, охладел я как-то ко всему, отупел.

Надумал идти в город. Был там протопоп, благочестивой жизни и весьма учёный, – с раскольниками ревностно состязался о делах веры и славу прозорливца имел. Объявил тестю, что ухожу, дом и всё, принадлежащее мне, оставляю ему, а он пусть даст мне за всё сто рублей.

– Так, – говорит, – нельзя! Напиши мне вексель на полгода в триста рублей.

Написал, выправил паспорт, ушёл. Нарочно пешком иду, не уляжется ли дорогой-то снятие души. Но хотя каяться иду, а о боге не думаю – не то боюсь, не то обидно мне – искривились все мысли мои, расплзаются, как гнилая дерюга, темны и неясны небеса для меня.

Дошёл до протопопа с большим трудом, не пускают. Какой-то служащий принимал посетителей, молодой и шупленький красавчик, раза четыре он меня отводил:

– Я, – говорит, – секретарь, мне надо три рубля дать.

– Я, – мол, – тебе трёх копеек не дам.

– А я тебя не пушу!

– Сам пройду!

Увидал он, что не уступлю.

– Идём, – говорит, – это я шучу, уж очень ты смешной.

И привёл меня в маленькую комнатку, сидит там на диване в углу седой старичок в зелёной рясе, кашляет, лицо измождённое, глаза строгие и посажены глубоко под лоб.

«Ну, – думаю, – этот мне что-нибудь скажет!»

– С чем пришёл? – спрашивает он.

– Смутился, – мол, – душой я, батюшка.

А секретарь этот, стоя сзади меня, шепчет:

– Говори: ваше преподобие!

– Велите, – говорю, – уйти служащему, мне при нём стеснительно...

Взглянул на меня протопоп, пожевал губами, приказывает:

– Выдь за дверь, Алексей! Ну, говори, что сделал?

– Сомневаюсь, – мол, – в милосердии господнем.

Он руку ко лбу приложил, поглядел на меня и нараспев шепчет:

– Что? Что-о такое, а? Ах ты, дубина!

Обижаться мне не время было, да и не обидна привычка властей наших ругать людей, они ведь не так со зла, как по глупости.

Говорю ему:

– Послушайте меня, ваше преподобие!

Да и присел было на стул – но замахал старичок руками, кричит:

– Встань! Встань! На колени должен пасть предо мной, окаянный!

– Зачем же, – говорю, – на колени-то? Ежели я виноват, то не перед вами, а перед богом!

Он – пуще сердится:

– А я кто? Кто я тебе? Кто я богу?

Из-за пустяка мне с ним стыдно спорить. Опустился на колени – на вот! А он, пальцем мне грозя, шипит:

– Я тебя научу священство уважать!

Пропадает у меня охота беседовать с ним, и покамест совсем не пропала – начал я говорить; начал, да скоро и забыл про него – первый раз вслух-то говорю мысли мои, удивляюсь словам своим и весь – как в огне.

Вдруг слышу – кричит старичок:

– Молчи, несчастный!

Я – как об стену с разбега ударился. Стоит он надо мной и шепчет, потрясая руками:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.